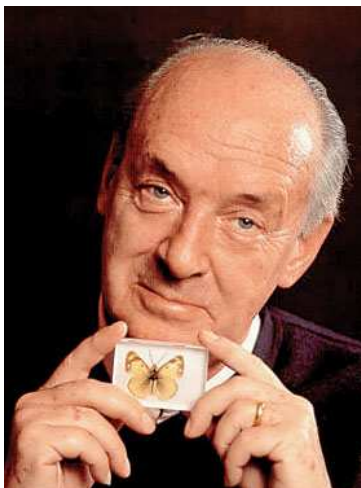


## Владимир Набоков. Стихи



В хрустальный шар заключены мы были,  
и мимо звезд летели мы с тобой,  
стремительно, безмолвно мы скользили  
из блеска в блеск блаженно-голубой.

И не было ни прошлого, ни цели;  
нас вечности восторг соединил;  
по небесам, обнявшись, мы летели,  
ослеплены улыбками светил.

Но чей-то вздох разбил наш шар хрустальный,  
остановил наш огненный порыв,  
и поцелуй прервал наш безначальный,  
и в пленный мир нас бросил, разлучив.

И на земле мы многое забыли:  
лишь изредка вспомнится во сне  
и трепет наш, и трепет звездной пыли,  
и чудный гул, дрожавший в вышине.

Хоть мы грустим и радуемся розно,  
твое лицо, средь всех прекрасных лиц,  
могу узнать по этой пыли звездной,  
оставшейся на кончиках ресниц...

1918, Крым

\*\*\*

Фейна дочь утонула в росинке,  
ночью, играя с влюбленным жучком.  
Поздно спасли... На сквозной паутинке  
тихо лежит. Голубым лепестком  
божьи коровки ей ноги покрыли,  
пять светляков засияли кругом,  
ладаном синим ей звезды кадили,  
плакала мать, заслонившись крылом.  
А на заре пробудилась поляна:  
бабочка скорбную весть разнесла...  
Что ей -- до смерти? Бела и румяна,  
пляшет в луче и совсем весела.  
Все оживляются... "Верьте не верьте, --  
шепчут друзьям два нескромных цветка, --  
фейна дочь на мгновенье до смерти  
здесь, при луне, целовала жучка!"

Мимо идет муравей деловитый.  
Мошки не поняли, думают -- бал.  
Глупый кузнечик, под лютиком скрытый,  
звонко твердит: так и знал, так и знал...  
Каждый спешит, кто -- беспечно, кто мрачно.  
Два паука, всех пугая, бегут.  
Феина дочь холодна и прозрачна,  
и на челе чуть горит изумруд.  
Как хороша! Этот тоненький локон,  
плечики эти -- кто б мог описать?  
Чуткий червяк, уж закутанный в кокон,  
просто не вытерпел, вылез опять.  
Смотрят, толкаются... Бледная фея  
плачет, склонившись на венчик цветка.  
День разгорается, ясно алея...  
Вдруг спохватились: "Не видно жучка!"  
Феина дочь утонула в росинке,  
и на заре, незаметен и тих,  
красному блику на мокрой былинке  
молится маленький черный жених...

1 декабря 1918

\*\*\*

Кто меня повезет  
по ухабам домой,  
мимо сизых болот  
и струящихся нив?  
Кто укажет кнутом,  
обернувшись ко мне,  
меж берез и рябин  
зеленеющий дом?  
Кто откроет мне дверь?  
Кто заплачет в сенях?  
А теперь -- вот теперь --  
есть ли там кто-нибудь,  
кто почуял бы вдруг,  
что в далеком краю  
я брожу и пою,  
под луной, о былом?

8 августа 1920

\*\*\*

Я без слез не могу  
тебя видеть, весна.  
Вот стою на лугу,  
да и плачу навзрыд.

А ты ходишь кругом,  
зеленея, шурша...  
Ах, откуда она,  
эта жгучая грусть!

Я и сам не пойму,  
только знаю одно:  
если б иволга вдруг  
зазвенела в лесу,

если б вдруг мне в глаза  
мокрый ландыш блеснул -  
в этот миг, на лугу,  
я бы умер, весна...

1920

От взгляда, лепета, улыбки  
в душе глубокой иногда  
свет загорается незыбкий,  
восходит крупная звезда.

И жить не стыдно и не больно;  
мгновенье учишься ценить,  
и слова одного довольно,  
чтоб все земное объяснить.  
Груневальд, 31. 7. 21.

\*\*\*

Моей матери

Людам ты скажешь: настало.  
Завтра я в путь соберусь.  
(Голуби. Двор постоянный.  
Ржавая вывеска: Русь.)

Скажешь ты Богу: я дома.  
(Кладбище. Мост. Поворот.)  
Будет старик незнакомый  
вместо дубка у ворот.  
3 мая 1920, Кембридж

\*\*\*

Нас мало -- юных, окрыленных,  
не задохнувшихся в пыли,  
еще простых, еще влюбленных  
в улыбку детскую земли.

Мы только шорох в старых парках,  
мы только птицы, мы живем  
в очарованьи пятен ярких,  
в чередованьи звуковом.

Мы только мутный цвет миндальный,  
мы только первопутный снег,  
оттенок тонкий, отзвук дальний, --  
но мы пришли в зловещий век.

Навис он, грубый и огромный,  
но что нам гром его тревог?  
Мы целомудренно бездомны,  
и с нами звезды, ветер, Бог.

### **На годовщину смерти Достоевского**

Садом шел Христос с учениками...  
Меж кустов, на солнечном песке,  
вытканном павлиньими глазками,  
песий труп лежал невдалеке.

И резцы белели из-под черной  
складки, и зловонным торжеством  
смерти заглушен был ладан сладкий  
теплых миртов, млеющих кругом.

Труп гниющий, трескаясь, раздулся,  
полный склизких, слипшихся червей...  
Иоанн, как дева, отвернулся,  
сгорбленный поморщился Матфей...

Говорил апостолу апостол:  
"Злой был пес, и смерть его нага,  
мерзостна..."

Христос же молвил просто:  
"Зубы у него -- как жемчуга..."

### **Знаешь веру мою?**

Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?  
Голубою весной облака я люблю,  
райский сахар на блюде блестящем;  
и люблю я, как льются под осень дожди,  
и под пестрыми кленами пеструю слякоть.  
Есть такие закаты, что хочется плакать,  
а иному шепнешь: подожди.  
Если ветер ты любишь и ветки сырые,  
Божьи звезды и Божьих зверьков,  
если видишь при сладостном слове "Россия"  
только даль и дожди золотые, косые  
и в колосьях лазурь васильков,--  
я тебя полюблю, как люблю я могучий,  
пышный шорох лесов, и закаты, и тучи,  
и мохнатых цветных червяков;  
полюблю я тебя оттого, что заметишь  
все пылинки в луче бытия,  
скажешь солнцу: спасибо, что светишь.  
Вот вся вера моя.

<1921>

### **Грибы**

У входа в парк, в узорах летних дней  
скамейка светит, ждет кого-то.  
На столике железном перед ней  
грибы разложены для счета.

Малютки русого боровика --  
что пальчики на детской ножке.  
Их извлекла так бережно рука  
из темных люлек вдоль дорожки.

И красные грибы: иголки, слизь  
на шляпках выгнутых, дырявых;  
они во мраке влажном вознеслись  
под хвоей елочек, в канавах.

И бурых подберезовиков ряд,  
таких родных, пахучих, мшистых,  
и слезы леса летнего горят  
на корешочках их пятнистых.

А на скамейке белой -- посмотри --  
плетеная корзинка боком  
лежит, и вся испачкана внутри  
черничным лиловатым соком.

13 ноября 1922

## В поезде

Я выехал давно, и вечер неродной  
рдел над равниною нерусской,  
и стихословили колеса подо мной,  
и я уснул на лавке узкой.

Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,  
и, окруженный тряской бездной,  
очнулся я, привстал, и ночь была душна,  
и замедлялся ямб железный.

По занавескам свет, как призрак, проходил.  
Внимая трепету и тренью  
смолкающих колес, я раму опустил:  
пахнуло сыростью, сиренью.

Была передо мной вся молодость моя:  
плетень, рябина подле клена,  
чернеющий навес, и мокрая скамья,  
и станционная икона.

И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь  
скамья, кусты, фонарь смиренный...  
Вот хлынула опять чудовищная ночь,  
и мчусь я, крошечный и пленный.

Дорога черная, без цели, без конца,  
толчки глухие, вздох и выдох,  
и жалоба колес, как повесть беглеца  
о прежних тюрьмах и обидах.

Груневальд, 4. 7. 21.

## Билет

На фабрике немецкой, вот сейчас, -  
Дай рассказать мне, муза, без волнения!  
на фабрике немецкой, вот сейчас,  
все в честь мою, идут приготoвленья.

Уже машина говорит: "Жую,  
бумажную выглаживаю кашу,  
уже пласты другой передаю".  
Та говорит: "Нарежу и подкрашу".

Уже найдя свой правильный размах,  
стальное многорукое создание  
печатает на розовых листах  
невероятной станции название.

И человек бесстрастно рассует  
те лепестки по ящикам в конторе,  
где на стене глазастый пароход,  
и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет  
тот равнодушный, медленный приказчик,  
который выдвинет заветный ящик  
и выдаст мне на родину билет.

1927

## Расстрел

Бывают ночи: только лягу,  
в Россию поплывет кровать,  
и вот ведут меня к оврагу,  
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,  
где спички и часы лежат,  
в глаза, как пристальное дуло,  
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею,--  
вот-вот сейчас пальнет в меня --  
я взгляда отвести не смею  
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания  
коснется тиканье часов,  
благополучного изгнания  
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,  
чтоб это вправду было так:  
Россия, звезды, ночь расстрела  
и весь в черемухе овраг.  
1927, Берлин

## В раю

Моя душа, за смертью дальней  
твой образ виден мне вот так:  
натуралист провинциальный,  
в раю потерянный чудака.

Там в роще дремлет ангел дикий,  
полупавлинье существо.  
Ты любознательно потыкай  
зеленым зонтиком в него,

соображая, как сначала  
о ней напишешь ты статью,  
потом... но только нет журнала  
и нет читателей в раю.

И ты стоишь, еще не веря  
немому горю своему:  
об этом синем сонном звере  
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,  
музей и птичьи чучела?  
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы  
на безымянные крыла.

1927, Берлин

## En el paraíso

(trad. Javier Marías)

Más allá de la distante muerte, alma mía,  
veo tu imagen así:  
un naturalista provincial,  
excéntrico perdido en el paraíso.

Ahí, en un claro, dormita un ángel salvaje,  
criatura más o menos pavonada.  
Tantéalo curiosamente  
con tu paraguas verde,

especulando cómo, en primer lugar,  
escribirás un ensayo sobre él,  
después... ¡Pero no hay revistas eruditas,  
y en el paraíso lectores no hay!

Y ahí estás tú, sin creerte aún  
tu callada aflicción.  
Sobre ese soñoliento animal azul  
¿a quién le contarás, a quién?

¿Dónde está el mundo y las rosas clasificadas,  
el museo y las aves disecadas?  
Y tú miras y miras a través de tus lágrimas  
esas alas innumerables.

Berlín, 1927

## Лилит

Я умер. Яворы и ставни  
горячий теребил Эол  
вдоль пыльной улицы.  
Я шел,  
и фавны шли, и в каждом фавне  
я мнил, что Пана узнаю:  
"Добро, я, кажется, в раю".

От солнца заслонясь, сверкая  
подмышкой рыжею, в дверях  
вдруг встала девочка нагая  
с речною лилией в кудрях,  
стройна, как женщина, и нежно  
цвели сосцы -- и вспомнил я  
весну земного бытия,  
когда из-за ольхи прибрежной  
я близко-близко видеть мог,  
как дочка мельника меньшая  
шла из воды, вся золотая,  
с бородкой мокрой между ног.

И вот теперь, в том самом фраке,  
в котором был вчера убит,  
с усмешкой хищною гуляки  
я подошел к моей Лилит.  
Через плечо зеленым глазом  
она взглянула -- и на мне  
одежды вспыхнули и разом  
испепелились.

В глубине  
был греческий диван мохнатый,  
вино на столике, гранаты,  
и в вольной росписи стена.  
Двумя холодными перстами  
по-детски взяв меня за пламя:  
"Сюда", -- промолвила она.  
Без принужденья, без усилья,  
лишь с медленностью озорной,  
она раздвинула, как крылья,  
свои коленки предо мной.  
И обольстителен и весел  
был запрокинувшийся лик,  
и яростным ударом чресел  
я в незабытую проник.  
Змея в змее, сосуд в сосуде,  
к ней пригнанный, я в ней скользил,  
уже восторг в растущем зуде  
неописуемый сквозил, --  
как вдруг она легко рванулась,  
отпрянула и, ноги сжав,  
вуаль какую-то подняв,  
в нее по бедра завернулась,  
и, полон сил, на полпути  
к блаженству, я ни с чем остался  
и ринулся и зашатался  
от ветра странного. "Впусти", --  
я крикнул, с ужасом заметя,  
что вновь на улице стою  
и мерзко блеющие дети  
глядят на булаву мою.

"Впусти", -- и козлоногий, рыжий  
народ все множился. "Впусти же,  
иначе я с ума сойду!"  
Молчала дверь. И перед всеми  
мучительно я пролил семя  
и понял вдруг, что я в аду.  
1928, Берлин

### Формула

Сутулится на стуле  
беспалое пальто.  
Потемки обманули,  
почудилось не то.

Сквозняк прошел недавно,  
и душу унесло  
в раскрывшееся плавно  
стеклянное число.

Сквозь отсветы пропущен  
сосудов цифровых,  
раздут или расплющен  
в алембиках кривых,

мой дух преображался:  
на тысячу колец,  
вращаясь, размножался  
и замер наконец

в хрустальнейшем застое.  
в отличнейшем Ничто,  
а в комнате пустое  
сутулится пальто.  
1931, Берлин

### На закате

На закате, у той же скамьи,  
как во дни молодые мои,  
  
на закате, ты знаешь каком,  
с яркой тучей и майским жуком,  
  
у скамьи с полустгнившей доской  
высоко над румяной рекой,  
  
как тогда, в те далекие дни,  
улыбнись и лицо отверни,  
  
если душам умерших давно  
иногда возвращаться дано.  
1935, Берлин

### Al atardecer (trad. Javier Marías)

Junto al mismo banco, al atardecer,  
como en los días de mi juventud,  
  
Sabéis bien cómo, al atardecer,  
con un abejorro y una nube de vivos colores,  
  
En el banco del asiento medio podrido,  
en lo alto sobre el río encarnado,  
  
Como entonces, en aquellos días lejanos,  
sonríe y aparta el rostro,  
  
Si a las almas de los muertos hace tiempo  
les es a veces dado regresar.

Berlín, 1935

## **Мы с тобою так верили**

Мы с тобою так верили в связь бытия,  
но теперь оглянулся я, и удивительно,  
до чего ты мне кажешься, юность моя,  
по цветам не моей, по чертам недействительной.

Если вдуматься, это как дымка волны  
между мной и тобой, между мелью и тонущим;  
или вижу столбы и тебя со спины,  
как ты прямо в закат на своем полуночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой  
всякой первой главы, а как долго нам верилось  
в непрерывность пути от ложбины сырой  
до нагорного вереска.

1938, Париж

## **Каким бы полотном**

Каким бы полотном батальным ни являлась  
советская сусальнейшая Русь,  
какой бы жалостью душа ни наполнялась,  
не поклонюсь, не примирюсь

со всею мерзостью, жестокостью и скукой  
немого рабства -- нет, о, нет,  
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,  
увольте, я еще поэт.

1944, Кембридж, Масс.

## **О правителях**

Вы будете (как иногда  
говорится)  
смеяться, вы будете (как ясновидцы  
говорят) хохотать, господа --  
но, честное слово,  
у меня есть приятель,  
которого  
привела бы в волнение мысль поздороваться  
с главою правительства или другого какого  
предприятия.  
С каких это пор, желал бы я знать,  
под ложечкой  
мы стали испытывать вроде  
нежного бульканья, глядя в бинокль  
на плотного с ежиком в ложе?  
С каких это пор  
понятие власти стало равно  
ключевому понятию родины?  
Какие-то римляне и мясники,  
Карл Красивый и Карл Безобразный,  
совершенно гнилые князьки,  
толстогрудые немки и разные  
людоеды, любовники, ломовики,  
Иоанны, Людовики, Ленины,  
все это сидело, кряхтя на эх и на ых,

упираясь локтями в колени,  
на престолах своих матерых.  
Умирает со скуки историк:  
за Мамаем все тот же Мамай.  
В самом деле, нельзя же нам с горя  
поступить, как чиновный Китай,  
кучу лишних веков присчитавший  
к истории скромной своей,  
от этого, впрочем, не ставшей  
ни лучше, ни веселей.  
Кучера государств зато хороши  
при исполнении должности: шибко  
ледяная навстречу летит синева,  
огневые трещат на ветру рукава...  
Наблюдатель глядит иностранный  
и спереди видит прекрасные очи навывкат,  
а сзади прекрасную помесь диванной  
подушки с чудовищной тыквой.  
Но детина в регалиях или  
волк в макинтоше,  
в фуражке с немецким крутым козырьком,  
охрипший и весь перекошенный,  
в остановившемся автомобиле --  
или опять же банкет  
с кавказским вином --  
нет.  
Покойный мой тезка,  
писавший стихи и в полоску,  
и в клетку, на самом восходе  
всесоюзно-мещанского класса,  
кабы дожил до полдня,  
нынче бы рифмы натягивал  
на "монументален",  
на "переперчил"  
и так далее.

1944, Кембридж, Масс.

### **Был день как день**

Был день как день. Дремала память. Длилась  
холодная и скучная весна.  
Внезапно тень на дне зашевелилась --  
и поднялась с рыданием со дна.

О чем рыдать? Утешить не умею.  
Но как затопала, как затряслась,  
как горячо цепляется за шею,  
в ужасном мраке на руки просясь.

1951, Итака

## Какое сделал я дурное дело

Какое сделал я дурное дело,  
и я ли развратитель и злодей.  
я, заставляющий мечтать мир целый  
о бедной девочке моей.

О, знаю я, меня боятся люди,  
и жгут таких, как я, за волшебство,  
и, как от яда в полном изумруде,  
мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,  
корректору и веку вопреки,  
тень русской ветки будет колебаться  
на мраморе моей руки.

27 декабря 1959, Сан-Ремо

## С серого севера

С серого севера  
вот пришли эти снимки.

Жизнь успела на все  
погасить недоимки.  
Знакомое дерево  
вырастает из дымки.

Вот на Лугу шоссе.  
Дом с колоннами. Оредежь.  
Отовсюду почти  
мне к себе до сих пор еще  
удалось бы пройти.

Так, бывало, купальщикам  
на приморском песке  
приносится мальчиком  
кое-что в кулачке.

Все, от камушка этого  
с каймой фиолетовой  
до стеклышка матово-  
зеленоватого,  
он приносит торжественно.

Вот это Батово.  
Вот это Рожественно.

20 декабря 1967, Монтре